

2012/2 (8)

УДК 008:001.8+003

Люсий А. П.

Содержание**Теоретическая культурология***Румянцев О. К.*

Быть или понимать:
универсальность нетрадиционной
культуры (Часть 2)

Нугаев Р. М.

Социокультурные основания
европейской науки Нового времени

Историческая культурология*Сайко Е. А.*

Этические и нравственные аспекты
русской культуры
повседневности в контексте книжной
культуры конца XIX — начала XX в.

Фазлуллин С. М.

Изучение и сохранение подводного
историко-культурного наследия
России

Прикладная культурология*Сеславинская М. В.*

К истории «большой цыганской
миграции» в Россию:
социокультурная динамика малых
групп в свете материалов
этнической истории

Гуманитарные исследования*Фортулатова В. А.*

Культурное моделирование
литературного текста

Люсий А. П.

Текстуальная революция или
семиотическая мутация?
Об одном культурологическом
путешествии в петербургской
маршрутке, концептуализированном
пробкой на улице Пестеля

Штейнер Е. С.

Левизна художественная

**Текстуальная революция или семиотическая мутация?
Об одном культурологическом путешествии в петербургской
маршрутке, концептуализированном пробкой на улице Пестеля**

Аннотация. В статье обосновывается авторский термин «текстуальная революция» и показывается, как на глобальном и локальном уровнях складывается новая «русская теория», в рамках которой через тексты культуры происходит формирование и конституирование социокультурного пространства современной России. Показано, что культурный текст — не совокупность объединенных тематически литературных произведений, а рационально обоснованный миф, или культурный артефакт, способный производить рефлективную работу, которая позволяет семантическому дискурсу «Россия» достичь идеальной цели — обретения статуса цивилизационной системы.

Ключевые слова: семиозис, локальный текст, текстуальная революция, русская теория, семиотическая мутация.

Своей концепцией «Петербургского текста» В. Н. Топоров бросил методологический вызов России, и та ответила ему текстуальной революцией гуманитарного знания.

Вызов заключался в заявленной эксклюзивности данной концепции, постулирующей ее «непереносимость» на другие пространства. Ответ — в повсеместном учреждении разнообразных локальных «текстов культуры» разного уровня и масштаба: московского, киевского, сибирского, алтайского, уральского, волжского, саратовского, самарского, кавказского, вятского, елецкого, муромского, северного и т. д. Внимательное изучение данных наработок позволяет сделать вывод о том, что, как правило, весь уже накопленный здесь материал является не поверхностным подражанием, как это может показаться на первый взгляд, а ответом самого российского пространства, со всеми его особенностями, и всего ранее сформировавшегося комплекса гуманитарного знания на глубинные потребности национального семиозиса. В то же время учреждение локальных текстов культуры нередко обнаруживает, пользуясь выражением Э. Гуссерля принципиальную методологическую наивность, которая отличается от обыденной наивности лишь тем, что является «наивностью более высокого ранга» [1] (что, в частности, проявляется в смешении тематических и текстуальных аспектов в процессе проблематизации предмета исследования). Возникновение каждого нового типа семиозиса

и политическая в детской книге Европы и Америки 1920–30-х гг. (Часть 1)

Пигальская А. М.

Подходы к конструированию истории дизайна и его практики

Ващенко А. В.

Двуликость Януса: мифология встречи старого с новым

Малая культурологическая энциклопедия

Вячеслав Леонидович Глазычев

Pro memoria

Разлогов К. Э.

Флиер А. Я.

Севан О. Г.

Вячеслав Глазычев:
архитектура человека

К 80-летию Российского института культурологии

Кудрявцева Е. Б.

Образование и первые годы существования Института

Рецензии

Рыбак К. Е.

Об итогах деятельности музеев России (по материалам доклада Союза музеев России)

Научная жизнь

Кужелева-Саган И. П.

Носова С. С.

Новомедийные формы международного научного сотрудничества

Жукова О. А.

Актуальные проблемы современного культурологического знания: глобальный мир в культурологическом измерении

Малыгина И. В.

«Семиосфера» Ю.М. Лотмана: рецепции в современном социально-гуманитарном знании

и семиосферы представляет собой не что иное как *семиотическую мутацию*. Семиотическая мутация определяется, например, как «процесс “смуты”», стихийного поиска новых адаптивных механизмов социума. Сама по себе семиотическая мутация возникает в ситуации, описанной А. Тойнби как механизм «Вызова-и-Ответа». В общем же механизме поиска, отбора и внедрения семиотической мутации видится аналогия с синергетическим механизмом самоструктурирования социума.

Некоторые филологи держат оборону, пытаются построить разделительную филологическую «решетку», охраняющую наследие ученого («строгую» филологию) от вольной интерпретации («популярной культурологи») и использования применительно к иным пространствам. Между тем, сам Топоров не только отстаивал уникальность Петербургского текста (в самом процессе концептуализации которого и происходило его восхождение от филологии к культурологии), но и обучал желающих правилам выхода за его пределы, не боясь «сорваться с проспекта прямо в метафизику». Но эта «метафизика» выхода на оперативные просторы «русской теории» получает мощную концептуальную поддержку в других работах В. Н. Топорова.

«Даже в этом неполном виде (то есть еще не столь семантически насыщенном, как пространство Петербургского текста. — А. Л.) портрет Земли весьма информативен, — пишет он в статье «К реконструкции балто-славянского образа земли-матери». — и характеризуется двумя сотнями ключевых слов, которые в сочетании с словом Земля и некоторыми другими словами — как полнзначными, так и служебными — образуют большое количество контекстов... Из этих контекстов легко составляются тексты, чаще всего вполне самодостаточные. Одни из этих текстов довольно близки (или даже просто тождественны) известным и реальное засвидетельствованным текстам, другие дают возможность реконструировать “потенциальные” тексты, которые некогда могли существовать, но в русской или славянской традиции не сохранились. Тем более важны такие потенциальные “микротексты”, если они находят подтверждение в родственных культурно-языковых традициях — балтийской, древнеиндийской, древнеиранской, древнегреческой, древнегерманской и других, и в таком случае позволяют приблизить потенциальную реконструкцию неизвестного славянского фрагмента к реальной...»

Учитывая множество подобных “микротекстов” и целый ряд некоторых более про странных текстов, можно утверждать, что в распоряжении исследователя оказывается и значительная часть морфологического инвентаря и даже ряд синтаксических схем, а иногда и некоторые элементы поэтики соответствующих текстов, что также повышает надежность реконструкции» [2]. Реконструкция места у В. Н. Топорова — типологический ответ на вызов М. Хайдеггера, настаивавшего на том, что наш язык и наши земные пределы — это та открытость, в которую мы выходим по ту сторону нашего собственного «я», наших привычек, истории и мира как такового. По мнению Й. Чемберс, наше место — «в той темной и расплывчатой экстратерриториальности, которая и есть теперь фундамент нашего дома. Таковы исторические координаты земного существования, которое настойчиво вопрошает нас, не предлагая комфорта воспроизводства тех готовых локальных истин, которых мы жаждем, тех «истин», которые только укрепляют нас в нашем эгоизме и ставят нас в центр мира. Именно эту экстратерриториальность, открытость Хайдеггер называет местом нашего бытия» [3].

Методы считывания Топоровым «текстов земли» вполне соответствуют

расширенному пониманию текстуальности в проекте социологии культуры Андреаса Реквица, который излагается в статье немецкого слависта Дорис Бахманн-Медик, представляющей собой специально подготовленный для российского читателя вариант послесловия к его книге «Культура как текст». Проект нацелен на понимание текстов через «теорию практик», интерпретируя «культуру как текст» не под знаком «чистого резервуара значений», а в качестве «смысловых образцов как “моделей, руководящих действиями”, или как “совокупности диспозиций действия”» [4].

Согласно взглядам Д. Бахманн-Медик, предметом интерпретации в духе культурологии становится не просто культурное содержание, отраженное в литературе, но также эстетические структуры и парадигмы изображения. «Если в культурологической рефлексии о литературе, осуществляемой в последние годы, что-либо вообще и было упущено, так это, вероятно, не сам “предмет” литературы, но обращение к литературно-эстетическому потенциалу “материала” и его необходимый формальный анализ. Таким образом, более полной реализацией культурологической программы стало бы следование принципу “каждая теория должна разрабатываться в материале” — чтобы из литературы этнологический потенциал высвобождался бы сам, из ее собственных этнографических подходов и установок. Таким образом, насущной потребностью является осуществление лозунга не “литература и этнография”, а “литература как этнография”...» [5]. В случае В. Н. Топорова — литература как этнолингвистика, ставшая концептуальной основой для считывания «текстов земли».

Говоря о «субверсии» культурных взаимосвязей значения и представления Д. Бахманн-Медик подчеркивает необходимость введение нового концепта в науках о культуре, противостоящего облегченному, само собой разумеющимся самоинтерпретациям этой культуры. Субверсия — термин, заимствованный из мира компьютерного программного обеспечения, где он обозначает свободную централизованную систему управления версиями. В культуре как системе локальных текстов роль субверсии играет Петербургский текст как сверх-(суб)текст, установочные мастер-классы чтения которого проведены В. Н. Топоровым в статье «О динамическом контексте “трехмерных” произведений изобразительного искусства...», представляющей собой опыт чтения Медного всадника в контексте окружающих ландшафтов и философского наследия, а также в заметках «Петербургские тексты и петербургские мифы». В качестве развернутого комментария к ним предстает коллективная монография венских ученых «Методы анализа текста и дискурса»: «Этнография речи направлена на описание способов речи в соответствии со способами конструирования и отражения социальной жизни внутри определенного речевого сообщества. Делл Хаймс противопоставляет грамматичность, которую пытается объяснить Хомски, приемлемости говорящих. “Необходимый шаг — это поместить говорящего внутрь иерархии включенности: с позиции участников, не всякое поведение коммуникативно; не вся коммуникация — языковая; а языковое мышление включает больше, чем речь”» [6].

Весь таким образом понимаемый «этнографический анализ» основывается на обнаруженных культурных и лингвистических паттернах и ключевых событиях. В той или иной мере визуализированные, карты, блок-схемы и матрицы этих паттернов помогают кристаллизовать целостную культурную информацию.

«Центральные концепты подхода Хаймса, которые в основных компонентах заимствованы у Якобсона, — продолжают венские

лингвокультурологи, — это речевая коммуникация, речевая ситуация, речевое событие, речевой акт и установка. Этнография речи исследует речевые акты внутри культурно-обусловленных речевых событий. Ядро метода состоит из систематического анализа контекста как основной структуры, внутри которой определенная форма выполняет определенные функции. Это происходит потому, что только одна форма не может объяснить *иллюкативную* силу речевого акта. Поэтому единицами анализа являются речевые ситуации, речевые события и речевые акты» [7].

Прошу позволения у научного сообщества привести пример своей внезапной полевой подключенности посредством как ожидаемых, так и внезапных дискурсивных речевых событий к целому ряду иерархических уровней текущего петербургского текста в процессе участия в III Российском культурологическом конгрессе в Петербурге (октябрь 2010 г.). Выступив с докладом «Текстологические концы и начала: к проблеме семиотической конечности и зачинательности» [8] на секции «Семиотика культуры» в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (Дворцовая набережная, 2), я посетил расположенную напротив через Неву Петропавловскую крепость, а затем сел в маршрутку, двигавшуюся в направлении к Смольному собору, чтобы попасть на концерт для участников конгресса. На протяжении большей части пути водитель что-то эмоционально втолковывал собеседнику по мобильному телефону на каком-то из кавказских языков, время от времени употребляя лишь два знакомых слова: «б...» и «Пестеля» (то в указанном, то в обратном порядке). Некоторое время пребывая в абсолютном историософском оцепенении от столь неожиданного сочетания, я все же попытался представить, о чем тут может идти речь, не забывая посматривать на окружающие городские ландшафты. Прочитав название улицы, я понял суть разговора: на улице Пестеля — пробка! Долгое время потом я задавал знакомым эту семиотическую загадку, которую, впрочем, большинство питерцев решали довольно быстро. Взглянув потом на карту города, я увидел, что улица эта довольно короткая, но гипертрофированная урбанизация по своему сжимает пространство и время современного Петербурга, порождая тем самым новые непредсказуемые смыслы.

«Трансгрессия, — вернемся к культурологической перспективе Д. Бахманн-Медик, а она в качестве дополнительного концепта имеет в виду именно этот, — тут явным образом возвышается на уровень “образца восприятия, описания и понимания”. Таким образом, подобная практика перехода, раскрытия границ, карнавализации, разрушения кодов будет относиться не только к символическому творческому “обмену, например, между искусствами, разными медиа, дискурсами, культурными территориями или языками и поколениями”. Скорее она станет отсылать как раз к перформативному “выходу <...> за рамки ритуализированного события” внутри культуры. При этом решающим для культурологического подхода является перформативный избыток, посредством которого понятие трансгрессии выходит за рамки текстуализированного культурного знания и выходит на сцену в качестве понятия, противостоящего ритуалу. Ведь в то время как ритуалы в переходных ситуациях остаются культурными стратегиями дисциплинирования, трансгрессия ориентирована на субверсивное преобразование господствующих кодов. Посредством актов мимесиса, метафоризации, а также перевода такие трансгрессии могли бы содействовать в культурной теории выходу за границы традиционных дихотомических порядков знания и “текстуалистского” понимания

культуры: “Если мы хотим ‘прочитать’ культуру и стремимся расшифровать ансамбль культурных текстов, произведенных ею, то мы, возможно, упускаем тот остаток, который на самом деле является для культуры конститутивным, но остается как раз ‘нечитаемым’, поскольку не кодифицирован, но ломает код, являясь трансгрессией”. Читать литературные тексты в связи с такими еще не получившими текстуального воплощения культурными “переходными процессами” и признавать их в качестве центральной операции оформления социальных действий, важной для всего процесса цивилизации, — как раз это следует из понимания литературы как этнографии» [9].

Текстуальная революция (вернемся к обоснованию предлагаемого нами термина) ставит задачу дальнейшей расшифровки символики текстов русской культуры посредством интерпретации, исходящей из сегодняшней социокультурной и пространственно-временной ситуации. «Вымысел, рассмотренный как коммуникативная структура, объединяет действительность с субъектом, и тот становится посредником между фикцией и реальностью» [10]. Данная ситуация «интерпретации интерпретаций» (П. Рикёр) носит предварительный характер. Эта предварительность предопределяет и уровень обоснованности представляемой концепции, которая носит открытый и дезъюнктивный характер. Поиск способов управления социальными системами, по предположению В. Храповой, может подсказать и принцип организации новых текстовых форм, задающих вариативные техники социокультурных взаимодействий и жизненные стратегии [11]. Закономерно предположить, что новая текстология как актуализация духовности будет развиваться за счет гармонического соединения научной рациональности, социальной и этической направленности и эстетической привлекательности.

В ходе текстуальной революции происходит формирование современной «русской теории». Это определение, ранее используемое для обоснования столь разнородных исследовательских направлений, как теория эфира и расология, в современной гуманитаристике обосновывается С.Н.Зенкиным по аналогии с синтетичным определением «французская теория», которое американские философы дали комплексу направлений постструктуралистских гуманитарных исследований во Франции, включающему философию, антропологию, социологию, семиологию, историю цивилизаций, критику разнообразных областей культуры) для определения русского формализма 1920-х гг. [12]. Новая «русская теория» в нашем понимании формируется сейчас в процессе концептуализации локальных текстов культуры, являясь также гипотетической конкретизацией традиционного метаопределения «русская идея».

Один из важнейших итогов текстуальной революции — осознание того, что метатекстуальность представляет собой особый тип культурной рефлексии. Им обладает далеко не каждый деятель культуры и искусства, так же как метаязык востребован далеко не каждым носителем языка. Метатекст в литературе выступает с философских и культурологических позиций как конденсированная модель литературности. Он вбирает в себя художественные и нехудожественные жанры, не проводя резкой грани между произведениями разных авторов, допускает текучесть состава, не обладает универсальными предметами, но при этом создает особую коммуникативную ситуацию, заставляющую воспринять отдельные части как связанные неким центром, доминантой. Если лингвистика все время закрывает понятия текста (и дискурса), превращая его в замкнутый универсум знаков, в

чисто внутреннюю игру их взаимных отношений, то задача культурологии и герменевтики видится в том, чтобы открывать текст культуры навстречу бытию.

Текстуальная революция имеет свои горизонтальное и вертикальное измерения. Вертикаль Петербургского текста, согласно В. Н. Топорову, имеет три уровня — Петербург как текст, текст города о самом себе и собственно Петербургский текст русской литературы. В то же время, процесс концептуализации локальных текстов и петербургского, в частности, происходит по «горизонтальной» схеме «вызова — ответа». Диалектика тут сочетается с *триалектикой*.

В России исторически состоялось формирование двух субкультур — столичной как инварианта европеизированной и провинциальной как инварианта традиционной. По мнению одного из авторов журнала «Современник» конца 1840-х гг., «со времен Петра Россия, обратив взоры на Европу, стала считать себя как бы ее провинцией... Можно сказать, что в отношении к Европе Петербург — провинциал первой руки, Москва — второй, а остальная Россия — третьей» [13]. Противостояние столицы и провинции в этом ракурсе выглядит как идущее из глубины культуры сопротивление всему чужеродному, по сути своей «инаковому». В случае с Россией это культурное движение сопротивления ослаблялось ее стремительной геополитической экспансией во все стороны света. Страна обрастала колониями, ее столица превращалась в метрополию, в «мировой город», а провинция приобретала «лоскутный» в культурном отношении характер.

Внутренняя колонизация России, отдадим дань этой исследовательской парадигме, предстает в избранном нами ракурсе как «петербургизация». Едва ли не каждый значительный город в России, основанный после Петербурга, оказывался, в той или иной степени, локальным Петербургом, сконцентрировавшим черты города нового типа. «Регулярный город» соединяет в себе несколько типов городов — город-крепость, город-порт, город-завод, город-резиденцию, которые были гармонично связанными водным простором и доминантами. Это порождает специфическую топографию новых городов России, ориентированную на какой-либо из аспектов столицы и выраженную посредством определенных архитектурных доминант. В городах-заводах появлялись архитектурно-топографические аналоги петербургского Адмиралтейства, в городах-крепостях — Петропавловской крепости, в приморских городах-резиденциях — дворцово-парковых пригородов Петербурга. Такой процесс формирования градосферы сегодня принято в культурологии называть «феноменом Петербургии» в оппозиции с «феноменом Московии», олицетворяющей материнскую, «горную» топографическую субстанцию средневекового русского города [14].

Уральский текст — отчасти и проекция петербургского текста (с мотивом города на краю, на «сухопутной» границе, крепости-завода). В Сибири данная константа отчетливо проявилась в облике, городском укладе и социокультурной политике Барнаула — города-завода, построенного в XVIII — первой половине XIX в. по образу и подобию Санкт-Петербурга. Основные типологические черты, связывающие культуру Барнаула и подчинявшихся ему заводов со столичной культурой, проявились в том, что этот город строился планомерно как промышленный и культурный центр региона с регулярной планировкой, в отличие от общероссийского радиально-концентрического принципа градостроения. Его первый храм носил имя Апостолов Петра и Павла, был построен в стиле барокко и, имея в плане вытянутый латинизированный крест, по ряду параметров напоминал собор Петропавловской крепости.

А. Коряковцев предлагает следующий набросок текстуальной систематической матрицы: «Модель “Сибирь” — как следствие территориально-ментального образования — формирует определенный когерентный дискурс [15]. Предполагается, что, моделируя процессы преобразования семантической структуры, т.е. модели мира, через включение разнообразия среды в структуру текста, можно выявить своеобразие формирования семантического континуума, модели текстообразования на данной территории. Модель “Сибирь”, будучи дискретизирована и реинтерпретирована моделью “Алтай”, формирует определенный тип схемы языкового существования, адекватный данной номинированной территории. Территориальная дислокация модели мира “Алтай” распространяется в пределах таких географических локализаций, как Алтайский край и Горный Алтай. Географическое разграничение данных локализаций противостоит семантико-функциональному универсализму языковой презентации, распространяющемуся вне зависимости от территориальных ограничений. Таким образом, “алтайский текст” — текст, структуру которого организует особый тип мыслительной организации, детерминирующий возникновение семантико-функциональных особенностей территории за счет особого расположения дискурсивных слов, смены регистров и т.д., проявляющихся в общественно-языковой практике» [16].

Остановимся на проблеме «Московского текста», возможность которого В. Н. Топоров не просто отвергал, но обосновывал существование городского «минус пространства» (в статье о С. Кржижановском), из чего остается сделать вывод о существовании скорее «Московского минус-текста», некоей текстуальной геометрии мнимостей.

Роль «концентрической» столицы — Москвы в истории весьма разнородна по отдельным своим составляющим. Поэтому здесь особенно проблематично апеллировать к каким-либо общим архетипам, выделять общее московское мышление, какой-то единый московский миф и стоять на его основании особый Московский текст. «Сам Московский текст, — определено высказывается Н. Меднис, — по причине... некоторой структурной рыхлости, трудно пока представим как единый свертхтекст» [17]. Различные высказывания, декларации и тексты московского периода имеют так мало общих оснований, что не образуют общего языкового поля, в котором возможен действительный диалог идей и его последовательное воплощение в образах. В то же время, для Н. М. Малыгиной и ее коллег по организации «московско-текстологических исследований» в Московском городском педагогическом университете в рамках Виноградовских чтений наличие московского текста — факт бесспорный. «Возможность говорить о своеобразном “московском тексте” русской литературы подтверждается уже существующим и прочно утвердившимся в современном литературоведении (труды В. Топорова и Ю. Лотмана) подходом к “Петербуржскому тексту” русской литературы... “Московский текст” определяется по модели петербургского» [18]. Установка на такой механический перенос одной исследовательской модели, созданной для весьма специфического объекта исследования, на иное, структурно весьма отличное культурное пространство, мы склонны оспаривать. Вместо перенесения петербургской эпистемиологической модели на московское пространство предлагается обратиться в первую очередь к теоретическому, включая и «сверхтекстоведческий», потенциалу собственно «московведческих» работ В. Н. Топорова и других исследователей.

Новаторство художественного осмысления Москвы Н. М. Карамзиным определяется, прежде всего, тем, что именно в повестях Карамзина

«московский текст» выстраивается как целостная, многоуровневая и многофункциональная система, определяющая строение самых разных слоев произведения. «Московский» характер карамзинской прозы как особая установка на специфический автобиографизм текста, рождение «автобиографического модуса повествования», некой эмоциональной ауры, охватывающая события и героев. Отчетливо строя свою литературную биографию, как писатель-«москвич», не принимающий условий «официального» Петербурга, Карамзин-автор избирает Москву местом действия подавляющего большинства своих повестей, тем самым сближая сферу «изображаемого» — собственно художественный мир произведения — и сферу «изображения» — заданные автором и известные читателю пространственно-временные «координаты», в которых разворачивается сам акт рассказывания. Архитектурные оппозиции Москвы в плотном локусе «Бедной Лизы» перерастают в идеологические, от которых Карамзин дистанцируется, переходя к восприятию города как чисто эстетического феномена (то есть — текста культуры).

Лев Толстой для московского текста — все равно, что Достоевский для петербургского. Однако в рамках каждого локального текста есть свои эндемичные гении. В петербургском — это М. Н. Муравьев, оказавшийся основным литературным героем В. Н. Топорова, в крымском — С. С. Бобров, в московском — П. Д. Боборыкин. Роман «Китай-город» Боборыкина — не просто произведение, а пространство вывода читателя непосредственно в «положительный» Московский текст. В ходе такой экскурсии с ее своеобразной диалектикой организации и дезорганизации не может не появиться особый гедонистический потребитель этого текста, «московский человек», «читать» умеющий, живущий преимущественно структурным, сетевым, а не только линейным чтением.

Исследователи сопоставляют три облика Москвы в начале XX в.: Москва сакральная, часто выступающая семиотическим заместителем Святой Руси; Москва бесовская; Москва праздничная. Первые два в едином литературном контексте взаимоотторгаемы и взаимосвязаны одновременно, но в каждом конкретном произведении отчетливо выявляется доминирование, а иногда и исключительность либо первого, либо второго начала. Третий вариант интегрирует два первых, порождая амбивалентный образ города, вполне соответствующий традициям народной праздничной культуры. Так, к примеру, Москва привила заемному экспрессионизму «недостающую силу — мистицизм вольной веры». В Москве начала XX в. вместо всеобщей равной и явной «мозговой засухи» утверждалась поступь «мозгового разжижа» (А. Белый).

Москва М. Булгакова, подобно Петербургу литературной традиции, стала мистериальной площадкой, где размыкается пространство и время теряет линейность, где высшее начало вмешивается в земную жизнь и решаются судьбы мира — и где сюжетное событие может кончиться либо клоунадой, либо катастрофой. Эта мифопоэтическая модель «великого города», заданная еще в «романтическом реализме», к Москве была применена достаточно поздно, отчасти потому, что Москва противостояла Петербургу как «большая деревня», но и потому, что сакральный ореол Москвы входил в противоречие с неперенными демонологическими коннотациями мифа «великого города» (прослеживаемого к библейскому Вавилону). Однако уже в поэзии первых декадентов XX в. укореняется и демонический образ Москвы, полного развития достигая в 1920–30-е гг.

В настоящее время Московский (минус)текст — типичный текст псевдоморфозы (в понимании О. Шпенглера), Новый Петербург Новой

России. Современная Москва как текст существует в особом хронотопе, игнорирующем большую часть России, для которой столица стала внешней, далекой стихией. Современная Москва — текст евроремонта, из пространства которого бизнес-политическая московская «элита» видит и утилитарно использует страну лишь фрагментарно, а реальные значимые события в стране превращаются масс-медиа в происходящие в некой снисходительно-фантомной «провинции» («регионах»). Сегодняшний Московский текст представляет собой сплетение иных текстов, в частности, западо-востока, в котором вестернизация, очевидная в городской среде и быту, идет рука об руку с ориентализацией. Это текст-матрешка, в котором мир либерально-рыночных структур, бирж, фондов, Интернета вложен в евразийское идеолого-политическое и средовое пространство, где переплетаются модернизационно-вестернизационные и ориентально-архаические черты. В Новомосковском (типологически — новопетербургском) тексте очевидны подражания, имитации визуальных и деятельностных форм в отрыве от смысла. В текущем московском тексте с помощью новейших инструментальных и культурных технологий воспроизводятся архаичные стереотипы и практики жизни [19]. Не случайно столь слоисто небо над Москвой в романах Ю. Козлова. «Как будто небо, подобно Гулистану, Золотоордынской республике, Сибири, Южному Уралу, Мангазее или иной российской провинции, тоже объявило независимость и вывесило собственный — сиреневый — государственный флаг» [20].

«Всеобщий интеллект» Москвы — «текст множеств», создающий странный феномен публичности без традиционной публичной сферы, которая связана с мифами и ритуалами государства как высшего суверена. Подобная публичность как родовая сила мысли и коммуникации, вышедшая на передний план, но не обладающая адекватным пространством политической артикуляции, образует негативный аспект опыта множеств, возможность связывания потенциальности множеств в новой унифицирующей репрезентации.

Своеобразным комментарием к проблеме конституирования Московского текста являются слова Б. Вальденфельса: «Отказ от абсолютных критериев еще не есть отказ от критериев вообще: он означает лишь то, что поиск критериев переносится в сферу самого опыта. Не надо гоняться за абсолютно первым или абсолютно последним или цепляться за какие-то универсальные формальные критерии, стремясь избежать последнего танца истории. Главное, скорее, заключается в том, чтобы развивать новые формы порядка, в которых разнообразно просвечивало бы неоднородное — с оттенком номадического. Отсюда проистекают возможности выхода за пределы различных эмпирических структур и эмпирических миров и их сочетания между собой, возможности, нацеленные на *экстраординарное*, однако без тенденции к его инкорпорации в тот или иной установленный контекст. Этот вид совершенства, возможно, предполагает некоторую непрозрачность и требует способности отважиться на различные формы дигрессии, уводящие от уравнивания как в прогрессе, так и в регрессе» [21].

Общий наш вывод по этому поводу: при всех сохранившихся проблемах с «жилплощадью мысли», в Москве налицо не только присутствие текстопорождающей «мифологизированной модели города» [22], но все же и самого Московского текста как текста-множества. Концептуализация локальных текстов русской культуры на сегодня представляет собой наиболее наглядное выражение процесса национального семиозиса (на стадии герменевтического просвещения), является адекватным ответом на потребности социокультурной

идентификации современного российского общества и построения в России коммуникативного сообщества.

В ходе постулируемой нами *текстуальной революции* происходит формирование базового культур-философского и культурологического инструментария, необходимого для адекватного описания современного культурного состояния в контексте неравновесных самоорганизующихся систем. Локальный текст культуры — не совокупность объединенных тематически литературных произведений, а рационально обоснованный миф, т.е. культурный артефакт, способный производить рефлексивную работу, позволяющую достичь семантическому дискурсу «Россия» идеальной цели — обретения статуса цивилизации, или цивилизационной системы. Ответ на поставленный в названии данных заметок вопрос таков: триумфальное шествие текстуальной революции гуманитарного знания в России осуществляется сейчас в форме семиотической мутации.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] *Husserl E.* Formale und transzendente Logik. Halle, 1929, S. 2; *Свясьян К. А.* Феноменологическое познание. Ереван, 1987. С. 77.
- [2] *Топоров В. Н.* Исследования по этимологии и семантике. М., 2010. Т. 4. Кн. 1. С. 272-273.
- [3] *Чемберс Й.* Рамки земли: Хайдеггер, гуманизм и «Дом» // Новое литературное обозрение. 2012. № 2 (114). С. 41.
- [4] *Бахманн-Медик Д.* Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии: вызовы, границы, перспективы // Новое литературное обозрение. 2011. № 1 (107). С. 35.
- [5] Там же. С. 39.
- [6] *Тичер С.* Методы анализа текста и дискурса / *С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Ветер.* Харьков, 2009. С. 132.
- [7] Там же. С. 137.
- [8] См.: *Люсьи А. П.* Текстологические концы и начала : к проблеме семиотической конечности и зачинательности // Семиотика культуры: антропологический поворот. СПб., 2011. С. 153-171.
- [9] *Бахманн-Медик Д.* Указ. соч. С. 40. Автор цитирует: *Transgressionen. Literatur als Ethnographie / hg. G. Neumann, R. Warning.* Freiburg, 2003. S. 8.
- [10] *Изер И.* Историко-функциональная текстовая модель литературы // Вестник МГУ. Сер. 9, Филология. 1997. № 3. С. 119.
- [11] *Храпова В.А.* Текст как социокультурный код общества. Волгоград, 2006.
- [12] *Зенкин С.* Русская теория и интеллектуальная история : заметки о теории. 5 // Новое литературное обозрение [Электронный ресурс]. 2003. № 3 (61). URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/61/zen.html> (дата обращения: 30.05. 2012).
- [13] Цит. по: *Злотникова Т.* «В России центр на периферии» : провинциология как ракурс культурологии // Интеллектуальная элита России XX в.: столица и провинция : материалы межрегион. науч. конф. Киров, 2003. С. 134.
- [14] *Жерносенко И. А., Балакина Е. И.* Культура Сибири и Алтая. Барнаул, 2011. С. 104.

- [15] Когерентность в физическом мире — колебания одной частоты.
- [16] *Коряковцев А. В.* Сибирь в контексте языкового существования : (электоральные компании) // Алтайский текст в русской культуре. Барнаул, 2006. Вып. 3. С. 154.
- [17] *Меднис Н.Е.* Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003. С. 52.
- [18] *Малыгина Н.М.* Проблема «московского текста» в русской литературе XX в. // Москва и «московский текст» в русской литературе XX в. М., 2005. С. 3-4.
- [19] *Смирнов С.Б.* Петербург — Москва: сумма истории. СПб., 2000. С. 252.
- [20] *Козлов Ю.* Колодец пророков. М., 2003. С. 139.
- [21] *Вальденфельс Б.* Одновременность неоднородного : современный порядок в зеркале большого города // Логос. 2002. № 3-4 (34). С. 18-19.
- [22] *Щукин В.* Российский гений просвещения : исследования в области мифопоэтики и истории идей. М., 2007. С. 510.

© Люсьй А. П., 2012

Статья поступила в редакцию 15 мая 2012 г.

Люсьй Александр Павлович,
кандидат культурологии,
старший научный сотрудник
Сектора теории искусств,
Российский институт культурологии (Москва),
e-mail: allyus1@gmail.com

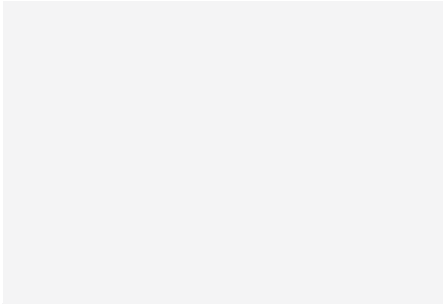
UDC 008:001.8+003

Lyusy A.

**Textual Revolution or Semiotic Mutation?
A Cultural Trip in Petersburg Taxi Bus,
Which Was Conceptualised Through the Bottleneck of The Pestel' Street**

Abstract. In the article, the author gives reasons for introducing the term of “textual revolution” and demonstrates how the “Russian theory” is shaped at the global and local levels. Within its framework, the sociocultural space of contemporary Russia is created and constituted by the texts of culture. It is shown that a cultural text is not just an aggregate of thematically joint literary creations but the rationally justified myth, or cultural artefact both capable of producing a reflective work and offering the “Russia” semantic discourse a possibility of reaching the ideal objective of obtaining the status of civilisational system.

Key words: semiosis, local text, textual revolution, Russian theory, semiotic mutation



Lyusy Aleksandr Pavlovich,

PhD in Culturology,

Senior Researcher at the Arts Theory Department,
Russian Institute for Cultural Research (Moscow),

e-mail: allyus1@gmail.com